

М и х а и л Б а р у

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ КВАНТ

* * *

За два дня договариваешься с соседом, который едет торговать в райцентр на рынок творогом, оставить тебе местечко в его старой шестерке. Накануне утром втискиваешься с трудом в машину вместе с ведрами творога, обвязанными сверху марлей и необъятной тещей соседа, обвязанной сверху пуховым платком, едешь с ними в город, и пока они торгуют, покупаешь три новых мышеловки, лимонов, прокладки для скважинного насоса, две курицы, кило антоновских яблок, пяток энергосберегающих лампочек, батон копченой колбасы, по две больших горсти золотого самаркандского изюму и жареного миндаля, новое ведро взамен прохудившегося, нерафинированного подсолнечного масла и бутылку сладкого испанского хересу. Снова, но уже с бóльшим трудом втискиваешься в машину и едешь домой. По дороге машина глохнет, аккумулятор разряжается, и ты толкаешь вместе с соседом машину, внутри которой сидит теща, и думаешь о том, что лучше было бы продать не творог, но кто же ее купит, даже если приплатить. Наконец останавливаешь знакомый трактор, и всего за пятьдесят рублей вы доезжаете до деревни на тропе уже в темноту и заиндевав от холода.

Дома отдаешь покупки жене, выпиваешь рюмку перцовки, съедаешь тарелку горячих щей, выпиваешь рюмку перцовки, смотришь на привезенный из города херес, строго говоришь себе: даже и не думай, выпиваешь рюмку... просыпаешься затемно уже в постели и без валенок, встаешь, растапливаешь печь, будишь жену, умываешь ее, кое-как причесываешь и отправляешь на кухню. Пока она там, сонная, точно робот, долго вымешивает тесто, трет в него лимонную цедру, добавляет изюм, миндаль, щепотку ванильного сахара, лепит колбаски, раскладывает их на противне, смазывает взбитым яйцом, ставит противень в печь на полчаса, вытаскивает, режет колбаски на толстые ломтики, выкладывает срезам вверх

и снова ставит в печь на десять минут, быстро засыпаешь, еще быстрее спишь и мгновенно просыпаешься от запаха свежемолотого кофе, который щекочет не только ноздри, но даже и пятку, высушившуюся ненароком из-под одеяла.

Встаешь, не причесываешься, надеваешь махровый халат, обуваясь в мягкие войлочные тапки, выходишь на кухню, садишься за стол и, не отрывая глаз от большой фарфоровой салатницы в цветочек, в которой лежит еще горячее печенье и смотрит на тебя миндальными и изюмными глазами, нечувствительно съедаешь преогромный омлет с сыром и колбасой. Пока жена наливает тебе в полулитровую кружку с зайчиками и белочками кофе со сливками, ты достаешь из буфета вчерашнюю бутылку, две расписных, привезенных из Турции, пиалы, наливаешь в них сладкого испанского хересу, и вы начинаете макать ломтики печенья в херес, откусывать и снова макать. Пока печенье, пропитанное хересом, тает на языке, пока херес мелкими пташечками разлетается по всему организму, надо успеть быстро прогнать от себя мысль¹ о том, что в Москве для того, чтобы не получить и сотой доли такого удовольствия, пришлось бы тащиться с женой в какое-нибудь битком набитое в выходной день кафе, ждать, пока к тебе подойдет сонный официант, просить у него принести вон те кантуччи или бискотти, которые на витрине при входе, узнать, что они были каменными уже в начале кайнозоя, что нового не испекли, что сладкого испанского хереса вообще не завозили с прошлого года и лучше взять суп дня из тыквы и бокал красного сухого чилийского вина, заказать все это, получить, съесть и выпить без всякого удовольствия, заплатить несусветные деньги и потом еще пойти в близлежащий торговый центр, где умереть от жары и жажды во время лихорадочных поисков перчаток или шарфика в тон пальто, или точно такого же халатика, но с перламутровыми пуговицами.

После того, как от мелких пташечек, летающих в разные стороны, начинает рябить в глазах... собираешь глаза и собранными глазами строго смотришь на жену, потихоньку убирающую в буфет бутылку сладкого испанского хереса. Говоришь ей: даже и не думай, и для этого целуешь сначала в щеку, пахнущую миндалем, потом в щеку, пахнущую ванилью, потом в щеку... короче говоря, туда, где пахнет

¹ Пока ее не прочла жена, умеющая читать даже то, что написано зеркально и вверх ногами у тебя в голове.

изюмом, но... Тогда идешь в погреб за банкой соленых огурцов к обеду, отпиваешь там из большой оплетенной бутылки два или три таких же больших глотка сладкой терновой наливки, возвращаешься, заедаешь ее печеньем, садишься у печки, закуливаешь трубку, а на вопрос где огурцы спишь без задних ног.

* * *

Подмораживает, и влажная, мышьяная, осенняя тишина мало-помалу превращается в зимнюю — сухую, звонкую и хрустальную. На острове, посреди болота, стоит избушка и постукивает кривым черным когтем желтой чешуйчатой ноги по молодому, еще неокрепшему льду. Лед трескается, и в змеистых сахарных трещинах появляется черная вода и зеленые листья ряски. Время от времени избушка чешет одну ногу о другую и снова стучит. Внезапно с обратной стороны избы раздается протяжный дверной скрип, и кто-то невидимый кричит таким же протяжным и скрипучим голосом:

— Вот сейчас кто-то поленом по ноге получит, если не прекратит... От воды быстро отошла! Я кому сказала!

Дверь скрипит еще раз и гулко хлопает. На какое-то время воцаряется тишина. Одна из ног осторожно водит когтем по льду, вычерчивая на нем непонятные знаки. Где-то в вышине надрывно и хрипло, точно после бронхита, каркает ворона. По расщепленному молнией стволу давно мертвой черной ольхи мерно стучит дятел. Минут через пять или семь к стуку дятла присоединяется чуть слышный костяной стук когтя по льду, становящийся с каждой секундой все настойчивее и громче...

* * *

Поле огромное. Жгучий ледяной ветер гонит по нему к лесу вороха заячьих и собачьих следов, гнет в дугу, завязывает в узлы и рвет на куски широкие следы охотничьих лыж, осыпает гулкое эхо выстрела и карканье ворон сверкающей снежной пылью и затихает в ельнике...

* * *

Как хотите, но самый приятный в лыжной прогулке момент не тот, когда ты наперегонки с ветром спускаешься с горы, не тот, когда вы вместе падаете в сугроб и даже не тот, когда из-под ног у вас неожиданно вспархивает ворона, о которой вы потом будете рассказывать как об огромном глухаре, а тот, когда вы уже ввалились в дом, упали без сил на стул возле печки, и вся семья суетится вокруг вас — сын снимает лыжи и валенки, дочь раскладывает для просушивания промокшие до нитки свитера, рубашки и носки, теща феном вытаскивает сосульки и ледышки из вашей бороды и усов, собака носится как угорелая и всем мешает, а вы кричите жене на кухню:

— Лучком селедку не забудь посыпать! Не режь мелко — колечками посыпай! Я суп не хочу — положи мне побольше утки с яблоками и гречневой каши с грибами. Не доставай пока водку из холодильника — приду и сам достану¹.

* * *

Оттепель. Дерево наклонилось навстречу стремительно несущимся клочьям сырого ветра и машет изо всех сил ветками, остекленевшими от ледяного дождя, черными листьями, десятком взъерошенных синиц и одной вороной, пытающейся если и не пройти несколько шагов вперед, то хотя бы устоять на месте.

* * *

Зимой в деревне сны мало чем отличаются от действительности — все то же бесконечное заснеженное поле, по которому ты бесконечно бредешь на автобусную остановку, чтобы сесть в давно ушедший автобус, или лезешь по нескончаемой лестнице в погреб, чтобы пересчитать оставшуюся до весны картошку с капустой и банки с солеными огурцами, или бесконечно подкладываешь в печку дрова, а в доме все равно холодно, или бесконечно споришь с женой о пересоленной квашеной капусте, или бесконечно смотришь в окно на синиц, бесконечно клюющих привязанное на веревочке к ветке

¹После слова «достану» надо успеть увернуться...

яблони сало и наперебой уверяющих тебя, что этот сон и есть жизнь. Правду говоря, в городе то же самое, но за окном десятого или пятнадцатого этажа нет синиц и тебе некому это растолковать.

* * *

Ночью был сильный мороз, и черное небо, прожженное в миллионах мест белыми и голубыми угольками звезд, было еще чернее, чем чернильный чертеж, начерченный четырьмя чумазыми чертеньями. На рассвете все заволокло тучами, снег пошел сначала медленно, потом быстрее, потом в панике заметался и стал ломиться изо всех сил в закрытую дверь и стучать в окно, на заиндевавшем стекле которого с ночи остался протаянный луной пяточок... уже и копеечка.

* * *

Если не оборачиваться на шум машин, едущих по шоссе, на свист электричек, на пьяные возгласы мужиков на автобусной остановке, на истошные крики телевизора, на маленькую зарплату, на незаконченный ремонт, на отсутствие у жены норковой шубы, на присутствие ее у жены начальника, а только идти по заснеженному полю на лыжах, смотреть на темнеющий впереди лес, на снежные бурунчики, вырывающиеся из-под острых кромок лыж, слушать свист ветра, сухое постукивание лыжных палок, пробивающих наст, вовремя объезжать торчащие из-под снега сухие стебли прошлогодних репейников, то через минут пятнадцать, в крайнем случае, двадцать пять, жизнь начинает налаживаться. Главное — не снижать темп.

* * *

Полнолуние. Среди ночи проснешься во сне, в самой его черной и ледяной от холодного пота середине, и скорей подбрасывать дрова в остывающую печку. Бросаешь, бросаешь... Уже из трубы разбегаются в разные стороны серые, пушистые, в черную полоску, щекотные

клубы дыма, а печка все не едет и не едет. Только урчит. Ухватишь за хвост клуб побольше и хочешь сбросить его с подушки на пол, а он давай сопротивляться, царапаться и мяукать так пронзительно, что просыпаешься, всовываешь ноги в войлочные тапки и идешь подбрасывать дрова в остывающую печку.

* * *

Если солнечным и теплым осенним днем вам предложат на выбор выкапывать капустные кочерыжки с грядок, или убирать помидорную ботву из теплиц, или вскапывать под зиму грядки, или убирать и свертывать в моток натянутую на колья над грядкой с горохом старую волейбольную сетку, попутно выдирая из нее засохшие гороховые плети — соглашайтесь на все и даже на разбрасывание навоза по всему огороду, но ни в коем случае не связывайтесь с волейбольной сеткой и горохом, поскольку они доведут вас до нервного срыва, до полного запутывания в сетке собаки, мечтавшей с самого детства, которое, как оказалось, и не закончилось вовсе, принять участие в уборке волейбольной сетки, в засовывании носа и всех четырех лап во все ее ячейки, в разгрызании и выплевывании высохших и окаменевших стручков, в свертывании самой себя в моток и, наконец, в... полном запутывании этого предложения.

* * *

Если утром проснуться, подойти к окну, закурить и смотреть на первый снег хотя бы минут десять, то возникает необъяснимая уверенность в том, что все наладится или, по крайней мере, все пройдет. Хотя... даже и закуривать необязательно.

* * *

Прозрачным осенним утром, пахнущим выпавшим ночью снегом, печным дымом и березовым дегтем, пойти в сад и там до полного оконченья пальцев обирать тронутые заморозками ягоды рябины, потом

часа два или три аккуратно, до нервного срыва, обрывать их с тонких веточек, мыть, сушить на расстеленных полотенцах, засыпать в трехлитровую банку, добавлять кору дуба, заливать водкой, настаивать месяц, сливать, заливать ягоды новой водкой еще на месяц, объединять настои, фильтровать через три слоя бязи, разливать по графинам, снова терпеливо, до нервного срыва, настаивать, доставать из погреба, ставить на стол, наливать янтарную золотистую жидкость в рюмку и, любуясь ею, думать о том, что вишневая наливка подается к чаю, сладким пирогам и годится только для склеивания слов в разговорах о веселеньких ситцах в полосочку, о фестончиках, о глазках и лапках, а горькая рябиновая настойка и сама с тобой поговорит о жизни, об одиночестве, об осколках разбитого вдребезги и о том, какие они все... и растворит без остатка скупую мужскую слезу, упавшую в рюмку, и сама запоет после пятой или даже третьей, если не закусывать.

* * *

Порывистый черный ветер, наполненный белым шумом ледяной крупы, черные вороны на черных ветках черных деревьев, бесконечно бредущих по берегу черной реки в черную заброшенную деревню, черный дом на краю черной заброшенной деревни, черные рыбаки в заброшенном доме, варящие черную уху и ждущие черную водку, черная водка на колесиках от черного трактора, задушившая тракториста и застрывшая в трех километрах...

* * *

В ноябре бывают такие глухие и темные вечера, что сколько в черное окно ни всматривайся — ничего, кроме отражений письменного стола, лампы, ноутбука с недописанным предложением внутри, кружки с чаем, бледного лица с опухшими глазами, в мешках под которыми еле шевелятся полусонные и совсем сонные мысли, не увидишь. Блеснет где-то в правом верхнем углу голубая звездочка в созвездии Лебеда или Гончих Псов, и опять бледное лицо, опухшие от долгого сна глаза, мешки под ними и борода с усами, глядя на которые думаешь, что еще чуть-чуть — и уж точно наступит зима.

* * *

В конце осени светает так долго, что день начинается, не дождав-шись окончания ночи. Кто-то там, наверху, смешивает, смешивает чернила с молоком и бросает, дойдя до состояния «еще не молоко, но уже не чернила». Из серой морозной мглы деревня выступает наполовину или даже на треть — и белые столбы дымов из труб, и вереница серых, связанных провисшими проводами столбов, заблудившихся в тумане и застывших у развилки дороги в нерешительности, и покрытые инеем черные кусты, и склевывающий семена репейника, зяблик в этих кустах. На морозе все зяблики — и этот, маленький, с красной головой и белыми пятнышками на черных крыльях, и тот, большой, с синим носом, в камуфляжной куртке и резиновых сапогах на босу ногу, бегущий из дому в сортир на дальнем конце огорода. Сейчас он вернется, подбросит дров в печку, заглянет на всякий случай в пустую бутылку водки, оставшуюся со вчерашнего, уберет ее под стол, выпьет холодной воды из носика чайника, залезет под толстое ватное одеяло, зевнет, потом еще раз зевнет, заснет и станет смотреть сон, в котором он стоит перед ученым советом на собственной защите и не знает, что ответить на вопрос ехидного доцента с кафедры то ли химической физики, то ли физической химии о том, почему у него на графике зависимости длины волны от интенсивности поглощения... станет покрываться холодным потом, багроветь, кричать, крыть ученый совет последними словами, звать на помощь жену, собаку и говорящего скворца Серегу, с которым вчера пил — пока, наконец, не выяснится, что он по ошибке, по черт знает чьему недосмотру, смотрит сон дачника через два дома по другой стороне улице, который уж два месяца как уехал с семьей и собакой к себе в Москву.

* * *

Первый снег. По полю мечется годовалый ирландский сеттер. Еще минута, и он раздвоится на трех... нет, на четверых огненнорыжих сеттеров поменьше, которые мгновенно разбегутся каждый к своей мышиной норе, чтобы залезть в них носами, чтобы раскопать их лапами, чтобы чихать от попавших в носы высохших травинок, чтобы снова копать, снова лезть носами, снова чихать, не поймать

ни одной из четырех мышей и побежать дальше веселым годовалым сеттером с виляющим хвостом.

* * *

Часам к девяти утра или даже к половине десятого оболочка сна становится такой тонкой, что сквозь нее понемногу начинает проникать шуршание и треск бересты, которую теща рвет на полоски перед тем, как положить в печку, тонкий, приглушенный писк петель чугунной печной дверцы, шипение масла на сковороде, шум закипающего чайника, стук кухонного ножа о разделочную доску, и, когда, наконец, оглушительный запах свежесваренного кофе эту оболочку разрывает в клочья, ты понимаешь, что вокруг тебя на десятки километров не среда, не пятница, не, упаси Господь, понедельник, а только суббота, в которой нет ни работы, ни начальников с их «это надо было сделать еще вчера», ни вагонов метро, в которых надо стоять на одной ноге, ни бесконечных автомобильных пробок, заполняющих бутылки так, что в них не остается ни глотка воздуха, состоящего из сажи, бензиновой гари и трех молекул кислорода на два района, но вместо всего этого есть небо, не опутанное проводами и не загнанное в щели между домами, под небом заснеженное поле, в поле деревня, в деревне дом, на кухне которого стоит большая фаянсовая тарелка с горой огненно-золотистых сырников. Намазываешь каждый густой деревенской сметаной, поливаешь все сверху клубничным или малиновым сиропом, откусываешь сырник так, что даже мочки ушей оказываются белыми и сладкими, и во рту у тебя начинает смешиваться горячее с белым, а сладкое с тающим на языке. Именно в этот момент, когда и горячо, и вкусно, и не проглотить не обжегшись, и хочется приоткрыть рот, чтобы остудить, но ненароком не выпронить — надо показать жестами жене, или теще, или собаке, не спускающей с тебя преданных глаз, из которых капает слюна, чтобы они добавили побольше холодных сливок в большую кружку с горячим кофе, иначе...

* * *

Ехавший на лыжах и упавший в сугроб мальчик лет пяти уже через три минуты упорных, но безуспешных попыток встать превращается

в такой запутанный шевелящийся ком, состоящий из лыж, палок, снега и, собственно, мальчика, что распутать его может только папа, держащий на вытянутых руках этот ком в воздухе, и старшая сестра, терпеливо развязывающая узел из лыж, палок и валенок.

* * *

Снег начался дождем и им же закончился. В окно видно, как случайные прохожие и фонари бродят вдоль улиц и каналов. Еще вчера твоя скорлупа была лишь немного матовой, почти прозрачной и на ней просвечивали многочисленные тонкие капилляры, а сегодня сквозь нее проступает лишь твой неясный силуэт и то, как ты ворочаешься, укладываясь поудобнее, слышно, как вздыхаешь, как о чем-то тихо разговариваешь сама с собой. Еще день-другой — и до тебя будет не достучаться.... Один из фонарей свернул в переулок и застыл там, как вкопанный. Светит себе под ногу. Дождь кончился, и снова пошел снег.

* * *

Сесть за самый дальний столик в углу и оттуда, с кружкой горячего глинтвейна в руках смотреть, как хлопает входная дверь, как заходят в кондитерское карамельное и ванильное тепло люди, как отряхивают свои пуховики, шубы и куртки от снега, как разматывают длинные разноцветные шарфы, как изо всех сил топают ногами, как сдувают капли воды от растаявшего снега с усов, как протирают запотевшие очки... до тех пор, пока на язык не попадет крошечный обломок коричневой палочки или гвоздика, лежавшие на дне кружки. После этого подозвать официанта, попросить принести еще одну кружку и снова смотреть.

* * *

По телевизору показывают приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Холмс и Ватсон сидят в больших мягких креслах у пыла-

ющего камина — Холмс в темно-синем бархатном домашнем сюртуке с затейливыми застежками из шелковой тесьмы, а Ватсон в твидовой тройке с двубортным жилетом цвета «в осенней траве сидел кузнечик». Смотрел я на них, смотрел, и так мне захотелось хоть в чем-нибудь...

Камина у меня нет, а включать свет в духовке и сидеть перед ней на кухонной табуретке глупо. Да и в чем, спрашивается, сидеть? Бархатного сюртука нет, а твидового костюма с двубортным жилетом с карманчиком для часов с цепочкой никогда и не было. Давным-давно были у меня часы с цепочкой из желтого металла, но носил я их в кармане джинсов до тех пор, пока цепочка не стала почему-то зеленеть и пачкать одежду и руки. Курить я бросил, и даже трубку спрятал так далеко, что и сам не помню куда. Выпил я чаю из тонкой фарфоровой чашки, съел кусочек творожного кекса с изюмом и чувствую — мало. Даже рюмка португальского портвейна, если и добавила, то очень немного. Тогда я достал из шкафа чистые, но не выглаженные носовые платки, которыми не пользуюсь, поскольку давно перешел на одноразовые бумажные, и стал их гладить. Выгладил, аккуратно сложил, засунул один из них, еще теплый от утюга, в карман домашних штанов, присел к столу, выпил еще одну рюмку портвейна, выковырял две изюминки из кекса и мало-помалу...

К чему я это все... К тому, что волшебная сила искусства — это вам не жук начихал. Попробуйте посмотреть, к примеру, последние известия или почитать газету, которую дают бесплатно в метро — после них хочется только глаза с мылом вымыть, а гладить носовые платки не возникает ни малейшего желания. И еще. Многие даже не догадываются, что иногда достаточно лишь выглаженного носового платка, чтобы почувствовать... Ну, и пара рюмок портвейна, конечно, не помешает. Или хорошего коньяку. Если вы, конечно, умеете вовремя остановиться.

* * *

Будильник, маленький, красный, с большой несуразной кнопкой, со встопорщенными стрелками, вечно вылезаящими за пределы циферблата, тикает быстро и еще быстрее, частит, торопит сны и кромсает время, как попало, превращая его в винегрет из

неровно обрезанных минут и часов с оборванными краями. Если запустить в сердцах будильником в стену, то он разобьется, и из него, кроме настоящего, сиюсекундного времени, которое годится только для того, чтобы закипел чайник, чтобы я успел причесать и подстричь усы, а ты успела накрасить губы, ничего не выпадет. Ну, может быть, еще несколько маленьких зубчатых шестеренок и микроскопических винтиков, из которых оно состоит. И больше ничего. Другое дело старые настенные часы в корпусе из красного дерева с бронзовыми накладками, с боем и сверкающим латунным маятником за стеклянной дверцей, за которой хранится не только настоящее, но и прошедшее время, например, то самое, когда, полчасом ранее, я непричесанными, неровными усами и ты ненакрашенными губами... когда мы... Вот почему дверцы настенных часов всегда предусмотрительно запирают на замок, или, в крайнем случае, на два крючка от детей и посторонних, а будильники швыряют об стену.

* * *

За окном идет холодный осенний дождь. Такой нудный, что проще промокнуть под ним, чем объяснить, что ты кашляешь, чихаешь и лежишь дома, в шерстяных носках до пояса, в горчичниках на голое тело, и от запаха чеснока, которого ты наелся в профилактических целях, слезятся глаза даже у воробьев, случайно присевших на подоконник с той стороны. Если нечеловеческим усилием оторвать от себя приросший намертво диван, встать на стул, достать с верхней полки книжного шкафа пыльную закрученную раковину, привезенную из Геленджика много лет назад, прижать ее к уху сильно, как это делают дети, то сквозь шум моря можно услышать, как кто-то кричит: «Чурчхела! Горячая кукуруза! Горячая... Девушка, а что вы делаете сегодня ве...» — в ужасе оторвать раковину от уха, положить ее на место, броситься на диван, завернуться в одеяло и слабым голосом попросить жену принести капли для уха, в котором так и стреляет, так и стреляет...

* * *

Темная, глухая осенняя ночь, бесконечная, как полет Вояджера, который американцы запустили в семьдесят каком-то году и с тех пор он уже успел улететь за пределы солнечной системы, прошел пояс Койпера и теперь летит за миллиарды километров от нас сквозь совершенно пустое межзвездное пространство, сквозь звездную пыль, мимо редких атомов водорода и гелия, мимо черных дыр, чернее которых нет ничего на свете, и Солнце уже за шеломянем еси, и от него не только тепла, но и света ни единого, самого маленького кванта не долетает, и радиоизотопных батарей хватит еще лет на десять, не больше, а до ближайшей туманности Андромеды, как до Китая... и он летит в таком страшном одиночестве, что не только у бортового компьютера, но даже у самого простого и стального болта с шестигранной головкой, затянутого на Земле изо всех сил гаечным ключом, начинает понемногу срывать резьбу...

